

Владислав КРАПИВИН

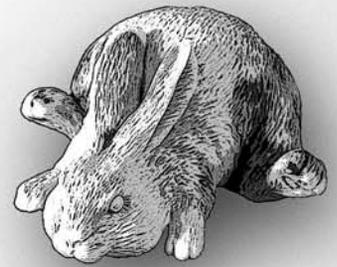
г. Тюмень

# МАРАМОРНЫЙ

# КРОЛИК

*маленькая повесть*

*Моей чудесной  
сестре Миле*



## О пещерах

**К**ролика зовут Кролик. Другого имени у него не было за всю жизнь. А жизнь у Кролика длинная, такая же, как у меня. Он появился у нас дома в прошлом веке, осенью тридцать восьмого года, через месяц после моего рождения.

В те дни моя сестра Людмила — Миля — отправилась из города Тюмени в город Киров (его по привычке тогда еще именовали Вяткой). Надо было обладать немалой отвагой, чтобы в тринадцать лет одной пуститься в такой дальний вояж. В тесном (отнюдь не купейном) вагоне тихоходного пассажирского поезда, набитого «всякими» пассажирами. Зачем ее понесло в такую даль? Официальная причина была — купить валенки. Себе, маме, брату. Почему-то считалось, что в далекой Вятке валенки дешев-

ле, чем в сибирской Тюмени, где эту обувь изготавливали в немалом количестве. Ну, тут прибавлялся еще повод: мол, следует навестить двоюродную бабушку — мамину тетю Анну Александровну. Странно это. Тетушка-бабушка ласковостью не отличалась, особых родственных чувств к ней никто не испытывал. И тем не менее... Сейчас я подозреваю, что была еще одна причина: авантюрный зуд, который толкал сестрицу на приключения. Такой у нее был характер. Но в общем-то речь не об этом. Речь о Кролике...

Поезд шел через Кунгур...

Мне нравится Кунгур, хотя я в нем никогда не был. Можно сказать: он нравится мне из окна вагона. Много раз приходилось проезжать его по дороге в столицу.

Поезд немало времени идет по берегу Сылвы, за которой громоздятся высоченные скальные обрывы. Местами они поросли темным уральским лесом. В скалах темнеют щели и норы. Всякий раз пассажиры заговаривают о том, что это входы в знаменитую и не исследованную до

конца пещеру. Не уверен, что это так, но все равно возникает ощущение некоторой таинственности... Потом открывается город. Старинные дома и церкви над откосами. И нижняя, заречная часть города, где над одноэтажными кварталами тоже белеют колокольни.

Если едешь весной, в апреле-мае, часто видишь, как в нижней части Кунгура хозяйничает наводнение.словно кто-то раскидал по заречной слободе гигантские стеклянные пласты. В них отражаются старинные домишки, заборы и тополя. Горят солнечные блики. Все это напоминает мне Тюмень моего детства. Впрочем, сейчас, возможно, вид уже другой, давно я не ездил через Кунгур. Поезда на запад теперь обычно ходят через Красноуфимск и Казань. Ну а в прежние времена...

Хорошо было выскочить на перрон, размять ноги, добежать до ближнего киоска, купить пару пирожков или бутылку газировки, поглазеть на безделушки, которыми торгуют на платформе здешние тетушки...

Бывает, что какое-нибудь место западает в память не знаменитыми достопримечательностями, а случайным, но ярким эпизодом. Так и у меня. При слове «Кунгур» мне сразу вспоминается десятилетний Максимка Языков.

Он был командиром барабанщиков отряда «Каравелла», которым я руководил в ту давнюю пору. Это семьдесят шестой год прошлого, то есть двадцатого, века. Тем летом группа ребят из «Каравеллы» отправилась в далекий Калининград, чтобы познакомиться с Балтийским морем, кораблями, маяками и флотской жизнью. А Максимка в ту пору гостил в Кунгуре у родственников. Почему не поехал с нами? Да потому, что раньше уже не раз бывал во всяких поездках и справедливо понимал: нельзя, чтобы «кому-то куча радостей, а кому-то другому — шиш». Но по отряду Максимка, конечно, скучал. И когда поезд встал у кунгурского вокзала, наш юный барабанщик примчался на перрон. Правда, без барабана, зато с большущей эмалированной кружкой — она была доверху наполнена лесной земляникой.

Вот больше трех десятков лет прошло, а помнится он так, будто было это вчера. Выскочил из вокзала на солнце, размахисто оглядел поезд, увидел друзей, заулыбался своей — Мак-

симкиной — улыбкой. Шуплый, с острыми локтями, с растрепанной челкой, в которой дрожат искорки от полуденных лучей. Серо-зеленая клетчатая рубашонка выбилась из полинялых пионерских шортиков, ноги — словно стволы годоовых сосенок, того же цвета и с золотистой шелухой загара. В глазах радость: хорошо, что успел, что встретил...

Земляника аккуратными щепотками разошлась по ребятам — чтобы хватило каждому (в том числе и Максимке). Его хлопали по плечам, ерошили челку и предлагали прихватить с собой: мол, засунем тебя под лавку и никто не заметит. В шутках была капелька виноватости: мы едем дальше, а ты остаешься. Не обижайся... Максимка и не думал обижаться. Десятилетний ветеран «Каравеллы», давно впитавший в себя отрядные понятия справедливости, он радовался за друзей, вот и все.

Потом он долго махал вслед вагону...

А синюю с белыми горошинами кружку мы забрали с собой, на память о встрече, потом привезли обратно, в Свердловск, и она долгое время служила «чайной посудиною» для вахтенных нашей флотилии.

Ну а при чем здесь Кролик?

Да так уж все связывается в памяти — одно к одному. Потому что именно в Кунгуре во время короткой стоянки сестра купила этого малыша, выточенного из кусочка белого мрамора. Стоил он гроши, и можно было побаловать себя уральским сувениром...

Размером Кролик с мелкую картофелину. Смирный такой, с лежащими на спине длинными ушами, с продолговатыми глазками. Сидит, чуть съжившись и поджав под себя передние лапки. Кончики лапок теперь отбиты, и я жалею Кролика, когда беру его в ладони. Но он смотрит как ни в чем не бывало... Мраморная шкурка его слегка потемнела, кое-где на ней рыжие пятнышки, но мне кажется, что таким он был и во времена моего детства. Необидчивый, тихий, очень спокойный и... твердый в этом спокойствии. С характером...

Сестра привезла его в Тюмень, поставила на этажерку среди других своих безделушек и, мне кажется, потом не очень-то обращала на него внимание. А я — обращал. Когда подрос. Катал мраморного зайчонка в деревянном

грузовичке, устраивал на жительство в картонном домике, укладывал под подушку, когда ложился спать. Да, он был для меня именно зайчонком. Сестра, любившая точность во всех вопросах, не раз внушала мне, что это не заяц, а кролик. Я почти не спорил. Но про себя считал, что Кролик — это имя, а порода у малыша заячья...

По правде говоря, я и теперь считаю его зайцем, который лишь прикинулся кроликом. Порой даже говорю ему об этом (как в пятилетнем возрасте). Он не возражает. Он помогает мне вспоминать. И я вспоминаю детские годы, сказки про зайца и лису, заросшие лютиками канавы и тут же — барабанщика Максиму, землянику в синей кружке и город Кунгур. По-научному это называется «цепь ассоциаций». То есть когда одна мысль цепляется за другую. И от Кунгура (где я в общем-то и не бывал) здесь никуда не деться. Это родина моего Кролика...

Иногда рассудительные люди меня спрашивают:

— Как же так! Вы, уральский житель, ни разу не побывали в близком от вас Кунгуре, не посетили знаменитую пещеру?!

Я развожу руками:

— Да вот, не пришлось...

Про знаменитую на весь мир Кунгурскую пещеру слышали многие. Почти каждый день туда ездят экскурсии. Люди глазят, ахают, дивятся подземным чудесам. А я не люблю коллективно глазеть и ахать. И, чтобы отвязаться от вопросов, небрежно говорю:

— Все эти пещеры одинаковы. Что в них особенного? Был я, например, в пещере Вельямар, что рядом с городом Матанасом на Кубе. Знающие люди рассказывали, что там очень похоже на Кунгурскую...

Нашу маленькую советско-писательскую делегацию водили среди подсвеченных лучами скальных глыб, великанских сталактитов и сталагмитов по исполинским гrotтам и тесным коридорчикам, где приходилось сгибаться в три погибели. Потолки таких коридорчиков были покрыты щетиной из мелких каменных сосулек. Я неосторожно выпрямился и ободрал о них спину. Порвал рубашку и расцарапал кожу на лопатке. Сопровождавшие нас

девицы-экскурсоводы сочувственно заохали. Мой рыжебородый товарищ Игорь Нагаев по прозвищу Барбудо (он был тогда заместителем редактора в журнале «Детская литература») достал из сумки флакон тройного одеколона. Велел снять рубашку, плеснул пахнущую спиртом жидкость на ладонь, протер мои царапины. Я зашипел.

— Зато останешься жив, — пообещал Барбудо. Темнокожая, пылко-красивая экскурсоводша сказала, что зашьет мою рубашку. И зашила, когда возвращались в Гавану на автобусе. Барбудо подарил ей флакон с тройным одеколоном. Девица просияла. В ту пору, в начале семидесятых, одеколон был на Кубе великим дефицитом. Помню, что на такой же бутылке я выменял у худого щетинистого рыбака полдюжины большущих антильских раковин и кокос...

Я морщился и шипел, когда спина терлась о спинку автобусного сиденья. Игорь предложил хлебнуть из фляжки крепкого рома «Гавана клуб». Я хлебнул и признался:

— Не люблю пещеры...

Я их действительно не любил. Поэтому и в Кунгурское подземное царство никогда не стремился. В любом подземном помещении мне становилось не по себе от мысли, что надо мной нависает каменная или глиняная толща. Что ей стоит слегка осесть и превратить человека в листик папиросной бумаги. Или просто отрезать выход к свету...

Помню, такая боязнь давила меня еще в мальчишечьи годы, когда наша ребячья компания разведывала подземные проходы под фундаментом взорванного Благовещенского собора на речном обрыве в моей родной Тюмени. Но рядом с приятелями было не очень страшно. Да и проходы не отличались глубиной... Зато я съеживался и задерживал дыхание, когда читал о блужданиях Тома Сойера и Бекки Тэчер по глубинным лабиринтам рядом с городом Сент-Питерсборо. Была у меня в семи-восьмилетнем возрасте такая любимая книга. Любимая, несмотря на всякие жившие в ней страхи. Главный страх — тот самый, «пещерный». И не от того, что в пещере обитал зловещий индеец Джо, а именно из-за непрошибаемости скальных стен и невозможности найти выход.

Всегда восхищался мужеством спелеологов, добровольно лезущих в глубины и теснины земной коры, но сам к такой романтике никогда не стремился...

Однажды пещеры отомстили мне за мою любовь, снова дохнули ужасом. Издалека.

Где-то в середине восьмидесятых я гостил в Белоруссии (тогда еще вполне «нашей», советской) у родственников. Однажды в августовских сумерках мы с моим взрослым племянником Сергеем бродили по Минску. Иногда заглядывали в маленькие вечерние кафе, выпивали по рюмочке. Дело было не то чтобы запретное, но связано с некоторым риском — шла активная борьба с алкоголизмом. Кажется, после третьей рюмочки нечистая сила толкнула меня зайти в будку междугородной связи и звякнуть домой: как там жизнь?

Вот идиот! Гулял бы с племянником, беззаботный и умиротворенный (можно было заглянуть еще в одну кафешку), так нет ведь, сунулся к телефону.

Жена откликнулась сразу. Сообщила, что дома в общем-то все в порядке...

— Только вот Павлик почему-то долго не возвращается...

Павлик — мой старший сын — пребывал тогда в самостоятельном студенческом возрасте. Хотелось романтики. В том случае она вылилась в желание отправиться с приятелями в поход. А приятели были спелеологи, ну и... сами понимаете...

Не помню теперь, что это была за пещера, куда их понесла нелегкая. Под какой горой, на каком расстоянии от Свердловска? Но вернуться они обещали ранним вечером. А сейчас на Урале была уже полночь...

— Ну, ничего, куда не денутся, — бодрым голосом пообещал я и повесил трубку. И ужаснулся, представив, какие часы неизвестности и ожидания предстоят мне здесь в трех тысячах верст от дома.

— Сергей, вот что! Лови такси, едем на аэродром. Хорошо, что деньги и паспорт с собой...

Сергей не спорил, хотя потом признался, что подумал: «А какой от тебя там прок?» Он только сказал:

- А как без вещей-то?
- Наплевать!

Мы вышли на край тротуара — ловить машину. И вдруг Сергей посоветовал:

— Слушай, позвони еще раз...

Я пожал плечами: что могло там, дома, измениться за три минуты?

Конечно же, услышал от жены:

— Нет, еще не пришел... — И вдруг! — Подожди, там кто-то звонит... — И стукнула трубкой о тумбочку.

«Господи, сделай так, чтобы это был он!»

Через десять секунд жена сообщила сквозь жужжанье телефонного эфира:

— Явился голубчик...

— Живой?!

— Ну, раз на своих ногах...

— Целый?

— Похоже, что да...

— Ну-ка дай ему трубку... Это ты?

— Похоже, что да, — сказал он так же, как его мама.

— Где тебя носило?

Выяснилось, что не «носило», а «застряло».

— Пробрались в один грот, а лаз там узкий. Обратно еле выбрались. Раком, то есть задницей вперед...

— Вот приеду, получишь по этой заднице, — пообещал я отпрыску, которого в жизни даже не шлепнул ни разу. И велел, как первокласснику: — Чтобы никаких больше пещер!

— Слушаюсь, — хихикнул он.

Когда я вышел (почти вывалился) из будки под звездное небо белорусского августа, Сергей сказал понимающе:

— Пойдем, тут есть одно заведение...

В заведении я слегка оттаял. Но полностью беспокойство не исчезло. В душе сидел твердый холодный комочек, напоминание, что этот страх прошел, но впереди будет (конечно же!) еще немало случаев, когда изводишься тоской и тревогой за тех, кого любишь.

Этот страх не оставлял и не оставляет меня всю жизнь. В детстве — за маму, когда на дворе осенний мрак, а она не идет и не идет из своей конторы домой. Потом — за сыновей. Вот младший укатил куда-то автостопом через полстраны и — где он? (А мобильники еще не в ходу.) Или за внука, который в парусном походе или в крымском лагере, а телефон молчит, будто его брякнули о камень (а в Крыму всякие оползни и

циклоны)... Или даже если просто звонишь кому-то из родных или друзей, а вместо нормального ответа — бесконечные гудки или гнусный голос автоматической девицы: «Данный телефон отключен или находится вне зоны...»

В таких случаях я готов на стенку лезть, хотя стараюсь сохранять спокойный вид. Мое спокойствие никого не обманывает. Те, кто рядом, в сердцах говорят, что я параноик.

— Ну, конечно, и даже не один, а «пара...», — жалобно отшучиваюсь я. — Но... Ик... — Это насмешка над собой, имитация нервной икоты... А телефон молчит и молчит...

Я не раз писал в своих книжках, что самая страшная пытка — неизвестность...

Господи, а как же люди раньше-то уходили в дальние плаванья? Во времена Крузенштерна и Миклухи-Маклая? Без всякой связи... Да, великое изобретение радио, потом телефонная связь. И эти пластмассовые коробочки с маленькими живыми экранами. Лишь бы они не молчали... И вот наконец:

— Да все в порядке! Просто мы купались, а телефон-то в кармане рубашки, на берегу...

Или:

— Что ты нервничаешь? Я на кухне, а мобилник забыла в спальне...

Или так:

— Ничего особенного, деньги на счете кончились. Ты не мог бы подбросить сотенку на мой номер?..

И приходит облегчение... Надолго ли? Столько непрочности в нынешнем мире...

Вот сколько напечатал, начав рассказ о мраморном Кролике (который на самом деле — зайчонок). О сестре, о Кунгуре, о Максимке с кружкой земляники, о пещере Вельямар на далекой Кубе, о телефонах и своих страхах. О том, что неизвестность — это пытка. И о радости, когда она исчезает... Одна мысль цепляется за другую («цепь ассоциаций»). Но надо возвращаться к главной теме — к малышу Кролику.

Он сидит передо мной на крышке принтера. Спокойный, с невозмутимостью на мордашке. Я беру Кролика в ладонь. Он прочный. Крепкий. И частичку этой невозмутимой крепкости он передает мне. Пусть немного, самую капельку, но становится легче. Кролик твердый, но живой. В его мраморном тельце бьется теплое

сердечко... Здравомыслящие люди скажут, что это просто оживает жилка в моей ладони. Но мы с Кроликом знаем: сердечко есть.

В те времена, когда я был беспомощным школьником, уверенный ритм кроличьего сердечка помогал мне в минуты горечи и страхов. Если долго не возвращалась мама, я брал Кролика, ложился лицом к стене, ладони с малышом прятал под щеку и слушал мягкое, ровное «тук... тук... тук...». Комок в горле таял, и мама приходила...

Да, Кролик не раз помогал мне — учил терпению и твердости.

Так случилось и в тот день, когда я услышал предсказание своей судьбы.

## Прогульщик

В рассказах о своем детстве я писал не раз, что после войны родители разошлись, отец уехал в Белоруссию к новой жене, а мама вышла замуж за пожилого охотоведа, сотрудника конторы «Заготживсырь» (названьице, да?). С моей родной улицы Герцена мы перебрались в комнатушку на Смоленской, тесную, как посылочный ящик. Из-за этой тесноты я неделями жил в прежней квартире, там обитала теперь моя старшая сестра Миля с мужем Николаем. Прибегал туда из школы, готовил уроки за старым (еще папиным) столом, сидел вечером у горячей печки и укладывался спать на длинном дощатом сундуке... Сестрица старалась меня воспитывать. Отчитывала за двойки, корявый почерк, порванные чулки и перемазанные чернилами пальцы. Она всю жизнь была отличницей и не понимала, как «нормальный ребенок» может быть лодырем, двоечником и неряхой.

— Будешь сегодня весь вечер учить правила, а не сопеть над «Томом Сойером» и «Геком Финном», они такие же бездельники, как ты...

— Ага, — говорил я и укрывался за перегородкой, в соседней квартире, где жил мой приятель, четвероклассник Пашка. У него тоже были книги про «бездельников» — гайдаровского барабанщика Сережку, неунывающего Буратино и Вовку Грушина, построившего подводную лодку «Архимед»...

Больше всего сестра возмущалась, когда читала учительские замечания в мой адрес.

Дневников тогда у первоклассников и второклассников не было, наша Прасковья Ивановна излагала свою «информацию для мам» на полях тетрадок. «Не принес палочки для счета», «Бегал на перемене», «Не выучил басню», «Кукарекал на уроке», «Опрокинул на соседку чернила», «Не учит таблицу умножения»...

Да учил я, учил эту проклятую таблицу! Но что делать, если не было у меня способностей к математике — ни тогда, ни потом...

...Тот день в конце сентября стоял по-летнему теплый, с пухлыми желтыми облаками, с одуванчиками, которые, как в мае, снова зацвели по канавам. Мы, второклассники, учились тогда во вторую смену, занятия начинались в час дня. Школа была в трех кварталах от дома, можно добежать за пять минут. И я тянул время до «последней черты», потому что на уроки не хотелось уж-жасно. Я играл на дворе. От приставной чердачной лестницы тянулась к вбитому у забора колышку скользкая проволока, к ней подвешен был на медных колечках жестяной самолетик. Это устройство мы накануне соорудили с Пашкой. Я ниткой подтягивал самолетик до верхней ступеньки, отпускал, и он ехал к земле, будто на посадочную полосу. Чтобы добавить самолетiku веса, я посадил в хлипкую кабинку Кролика. Так мы и развлекались вдвоем... Нельзя сказать, чтобы игра была очень увлекательная, но все же лучше, чем топтать в школу и сидеть в классе, вдыхать едкие запахи мела и «химических» чернил.

Сестра уже не раз появлялась на крыльце, говорила, что я обязательно опоздаю.

— Не-а... — отвечал я, подтягивая самолетик на стартовую позицию.

— Уже без пятнадцати час...

Потом:

— Уже без десяти...

— Ну и чё...

— Не «чё», а марш в школу! — Она с размаха накинула мне на плечо ремень кирзовой сумки и подтолкнула к калитке. Кролика я не успел занести в дом, сунул его в карман. Штаны из гимнастерочной ткани были куцые, с лямками, но карманы — как у настоящих брюк. В них влезало много всего...

Оказалось, что сестра подгоняла меня зря. Когда я пришел в школу, часы над лестницей показывали без пятнадцати час. Вечная эта «дамская склонность к панике», как говорил муж Людмилы Николай. Я пошел в класс. Там были не только ребята, но и Прасковья Ивановна. В ответ на мое «здрасьте» она глянула неласково:

— Ага, вот и Крапивин появился. Иди-ка сюда...

Я пошел неохотно. Если зовут по фамилии, добра не жди. И добра не было. Были мои тетрадки, которые Прасковья слегка брезгливо приподнимала над столом.

— Полюбуйся, что ты здесь нацарапал. И сколько наляпал ошибок... Тебя следует посадить обратно в первый класс... Я написала замечания. Покажешь это маме...

Я обомлел. Страницы двух тетрадей — одна в клеточку, другая в косую линейку — пестрели красными росчерками, поправками, вопросительными знаками и даже кровавыми кляксами. И размашистыми надписями. Этикие «карточные залпы» алых чернил... Я совершенно не понял, что там за поправки и какие начертаны слова. Их было столько, что выплескивалось далеко за привычные рамки. Когда я успел наделать столько ошибок в примерах и предложениях? Этого хватило бы на весь учебный год, а он только начался!

За что мне такая беда? Ну да, я не отличник, как, скажем, Светка Никитина или Борька Демидов, но и не последний же лодырь, как Серега Тоцев! Я же старался, решал, как умел, писал, как получалось. И домашние уроки делал... почти всегда... В чем я виноват?

Было похоже, что на меня свалилось какое-то стихийное бедствие!

Свалилось... и будто отшибло у меня все чувства. Вырубило предохранители. Я спокойно взял тетради, сунул в свою полевую сумку и вышел из класса. Было внутри у меня лишь вялое равнодушие. В этом равнодушии созрела здравая мысль: если не будет исчерканных тетрадок, не будет и никакой беды. Я вышел на солнечный двор, прошагал в дальний конец, где желтела свежими досками постройка, именуемая иностранным словом «сортир». Там было полутемно и пусто. Я скрутил в жгут злопо-

лучные тетрадки и спустил в круглое отверстие. Стало легко. И пришло ясное понимание, что нет смысла возвращаться под сердитые очи Прасковьи Ивановны. Увидит — и начнет ругать снова. А не увидит — и не вспомнит...

Я выбрался через дыру в заборе и побрел куда глаза глядят. По теплу, по солнышку, по широким тротуарам. Они были тогда деревянные, сквозь щели между досками торчала лебеда. Шел сорок шестой год двадцатого века — мне еще не исполнилось восьми лет. Впервые в жизни я стал прогульщиком, но совершенно не думал о последствиях. Повторяю: отключились какие-то предохранители. Меня окутывала скучноватая беззаботность.

Я постукивал крепкими ботинками по доскам и кончиками пальцев гладил в кармане Кролика — будто живого друга и сообщника. Он был теплым. Ощущение, что я не один, укрепляло мое спокойствие...

Однако следовало как-то протянуть свалившееся на меня свободное время. Возвращаться домой было нельзя — ни на улицу Смоленскую, где мама, ни на улицу Герцена, где сестра. Сразу началось бы: «Что случилось?! Почему ты не на уроках?! Тебя выгнали из школы?!» Я пошел бродить по центру: по улице Республики, по Первомайской, мимо городского сквера и рынка. Разглядывал на круглых тумбах цирковые и театральные афиши, изучал книжные обложки за витринными стеклами магазина «Когиз». И вдруг вспомнил, что в кармане штанов (не в том, где Кролик, в другом) лежит пятирублевая бумажка. Ее накануне подарила мама — была в хорошем настроении и решила побаловать сына-второклассника.

Я вытащил новенькую пятирублевку на свет. Полюбовался. Бумажка была синяя, с портретом летчика. У летчика — мужественное лицо, шлем с очками и парашют за спиной. С этим летчиком у меня были связаны приятные воспоминания.

Дело в том, что такой же портрет пилота (лишь во много раз меньше) печатался тогда на почтовых марках — ценой в тридцать копеек. Столько же стоила отправка письма, поэтому синие марки с летчиками были самыми ходовыми. Год назад, гоняя по ближним кварталам упругий обруч, я заметил в заросшей канаве бе-

лый бумажный квадрат. Оказалось, что это изнанка листа, состоявшего из множества марок. Обладеть сколько! Я притащил находку домой, мама посчитала и сказала, что целых три сотни.

— Кто-то потерял. Или почтальон, или тот, кто пишет множество писем...

Наутро мама поинтересовалась у знакомой почтальонши Кати: не теряла ли та что-нибудь, когда обходила здешние дворы? Та сказала, что «ни письмеца, ни газетки»...

— А почему вы спрашиваете?

— Да вот Славка мой нашел...

— А вы отнесите это на почту, там вам вернут за марки всю сумму...

Мама отнесла. И получила чуть ли не сто рублей. За эти деньги можно было купить на рынке три буханки «коммерческого» хлеба. Не помню, что купила мама, а я в награду получил трешку на порцию мороженого — зеленую, с красноармейцами в касках. Таких красноармейцев тоже печатали на марках, только не тридцатикопеечных, а, кажется, за десять копеек...

Все эти мысли и воспоминания прокрутились у меня в голове перед книжной витриной. И я подумал, что можно сделать какие-нибудь покупки. Зашел. Подходящих книжек на полках (как и за витринным стеклом) не увидел и купил цветные карандаши «Спартак» за два рубля. А еще — набор серых открыток с гравюрами старинного Санкт-Петербурга (зачем, сам не знал). Вышел, не спеша вернулся к рыночному кварталу. Здесь тесно стояли фотомастерские, парикмахерские, буфеты и киоски со всякой мелочью: расческами, портсигарами, бритвами, куколками, записными книжками. Там же я увидел белого ватного медвежонка с острой мордочкой (похоже, что елочная игрушка). Он стоил четыре рубля с копейками, а у меня осталось чуть больше двух. Недолго думая пошел я опять в книжный магазин и сказал продавщице, что цветные карандаши мне ни к чему. Вспомнил, мол, что дома есть почти такие же. Продавщица пожала плечами и возвратила деньги.

И я купил медвежонка.

Сел на штакетник, вытащил Кролика, решил познакомить его с медвежонком. Однако мне показалось, что они отнеслись друг к другу без интереса. Тогда я отправился к киоску и зая-

вил, что медвежонок мне перестал нравиться, пусть заберут назад, а деньги дадут обратно. Лучше я куплю мороженое.

Однако продавщица оказалась не такая, как в «Когизе». Пожилая полная тетя не сердито, но твердо разъяснила мне, что «так не полагаются».

— Подумай сам, что будет, если все мальчики станут покупать игрушки, а потом нести их обратно в магазин, когда наиграются. А?

Я подумал и согласился, что продавщица права. Не обиделся. Ровное спокойствие по-прежнему окутывало меня. Солнце грело спину сквозь суконную курточку. Над газонами неподвижно висели в воздухе пушистые семена. Я сунул медвежонок в тот же карман, где был Кролик, и опять побрел неведомо куда — бездумно и неторопливо. Изредка проезжали по бульжной мостовой пролетки. Подковы цокали, серые и гнедые лошади устремленно смотрели вперед. Так же смотрели кучера и восседавшие на задних сиденьях начальники с портфелями на коленях. Почти все они были в полувоенных френчах. Проехала блестящая синяя «эмка», в ней сидел, конечно, начальник поважнее, чем в пролетках, но за блестящими стеклами он был неразличим. Я с интересом поглядел «эмке» вслед: легковых машин в ту пору было в Тюмени мало...

Потом свернул на Первомайскую. Это была дорога к дому — и на Герцена, и на Смоленской. Но идти домой не имело смысла. Подвесные часы на старинном кирпичном здании (называлось оно «Дом санпросвещения») показывали, что в школе начался всего-навсего второй урок. Дома сразу возьмут в обработку: «Почему вернулся так рано?» Я с противным чувством виноватости, не сворачивая, пересек обе «свои» улицы и двинулся дальше, к мосту через городской лог.

Лог был широченный. Его откосы поросли бурьяном, польнью, коноплей, репейником и всяким там чертополохом. Я продрался вниз, собирая на себя всякие семена и колючки. На дне лога мирно журчала речка Тюменка. Журчала, не нарушая тишины. Было совершенно безлюдно. Я сделал на берегу привал. Вытащил из кармана и устроил на лопухе Кролика и медвежонок. Остроносый медвежонок смотрел с

укоризной: видимо, помнил, как я чуть не сплавил его обратно в киоск. Я погладил его между ушей. А Кролика потер о щеку — это была для него привычная ласка.

Время текло неторопливо, как вода в Тюменке. Я посидел, бездумно дергая травинки. Снял ботинки, отцепил и стянул чулки, побродил по глинистому дну. Вода была теплая, а глубина — ниже колен. Я пустил по течению пустую консервную банку, которую подобрал на берегу. Решил, что это круглый военный корабль типа «Поповка». Про такие старинные русские броненосцы как-то рассказал мне муж сестры, Николай. Он часто рассказывал мне про всякие интересные вещи. На кромку «Поповки» села блестящая стрекоза...

Сколько прошло времени, я не понимал. Солнце стояло высоко, но мне казалось, что в логу я провел часа два. Обулся, сунул Кролика и медвежонок в карман, подхватил сумку и полез наверх по крутой тропке среди травяных джунглей. В джунглях пряталась крапива. Она ухитрялась цапать сквозь чулки. А иногда ее верхушки залезали в короткие штанины и кусали голые места выше чулок. Я, однако, относился к этому терпеливо. Подумал даже, что пусть: может быть, такие укусы — наказание за прогул. И впервые шевельнулось в душе беспокойство. Правда, слабенькое. Не страх последствий, не уколы совести, а просто некоторая неуютность...

От моста через лог до нашей квартиры на Смоленской было рукой подать.

Мама оказалась дома, развешивала на дворе мокрое белье. Удивилась:

— Ты почему явился так рано?

«Значит, все-таки рано!..»

Однако я был изобретательный ребенок и с ходу придумал объяснение:

— Уроков было мало. Устроили генеральную уборку, потому что завтра приезжает из командировки Нина Ивановна и надо, чтобы в школе был полный порядок.

Нина Ивановна была наш директор — добрая, седая, улыбчивая. Она и в самом деле несколько дней назад уехала на какую-то конференцию, мама это знала. Говорил я самым правдивым тоном. Даже ввернул такую живописную подробность: «Технички суетились, как уни-

формисты на арене перед началом представления». Мама поверила.

— А ты что, помогал им выгрести мусор? Смотри, как изволился...

На курточке висели сухие головки репейника. Чулки были густо усеяны плоскими семенами череды (мы, ребята, называли их «двухвостки», потому что на каждом семечке два усика: прицепятся — не оторвешь).

— Не... Я немножко поиграл в логу...

— Оно и видно, что немножко...

Я пошел в дом. В нашей фанерной комнатке было пасмурно — окно смотрело на север. Тикали ходики с тяжелым висющим замком вместо гири... Всего-то половина четвертого. Чем заняться? Не уроки же учить! К тому же сегодняшних домашних заданий я не знал... Вспомнил про открытки, вытащил из сумки, поразглядывал. Серые гравюры были скучные. Лишь две из них слегка заинтересовали меня: там были корабли с пузатыми парусами...

Я, почесывая крапивные укусы, сел на свою постель — узенькую кушетку, накрытую суконным одеялом. Положил рядом большую книгу в синей коленкоровой корке, сочинения Марка Твена. Посадил на нее Кролика и медвежонка (у него сгибалось туловище). Огородил книгу ширмой из открыток. Решил, что это «кроличье-медвежачий» дом. Но чем заниматься жильцам дома? Не сидеть же просто так! Пусть отбиваются от пиратов! Как герои «Острова сокровищ», заблокированные в береговом форте.

Пиратами стали костяшки домино. Они обступали форт со всех сторон. Кролик и медвежонки храбро падали в них из мушкетов. Костяшки валились навзничь. Скоро пираты полегли все до одного. Начинать осаду заново мне уже не хотелось, я открыл Марка Твена и начал двадцатый раз путешествовать с Томом и Геком по Миссисипи... Время побежало незаметно...

Появилась мама.

— Я пошла к Людмиле. Пойдешь со мной? Все равно ведь ночевать будешь там...

— Я потом. Почитаю пока...

— На плитке сковородка с картошкой. Поешь и приходи.

— Ага...

Я полистал книгу еще с полчаса. Съел кар-

тошку. Сунул в карман Кролика, а медвежонка посадил за горшок с геранью на подоконнике.

...Забегая вперед, скажу, что купленный в киоске мишка не стал моей любимой игрушкой. Нет, я его не забросил, но и не баловал вниманием. Лишь раз в году, перед зимними каникулами, наступал для медвежонка праздник: я вешал его вместе с блестящими шариками и звездами из мишуры на елку. Много лет подряд. Потом стал большим, уехал учиться в другой город, а куда девался медвежонок, не знаю. Иногда покалывает совесть...

Но речь не о медвежонке, а о Кролике. Кролик по-прежнему был со мной. Я поглаживал его в кармане, когда шел к сестре. А неуютность в душе нарастала. И я не удивился, когда сестрица мне «ласково» сказала:

— Ага. Появился, голубчик.

## Предсказание

За окнами были еще оранжевые вечерние зотблески, но у потолка горела желтая лампочка, и от ее жидкого света стало тоскливо.

Кроме сестры (скрестившей на груди руки) в комнате была мама. Она сидела в позе мамы с картины «Опять двойка» (хотя такая картина в ту пору была, по-моему, неизвестна). А еще здесь находился муж сестры Николай — он с отрешенным видом возился у стола с какими-то чертежами.

Я сунул руку в карман и сжал Кролика в кулаке.

Роль главного следователя взяла на себя, конечно, сестрица. Пронзила меня взглядом.

— Ну?

— Что? — спросил я. (Кролик был твердый и теплый.)

— Ты ничего не хочешь нам сказать?

Я сказал:

— А чё говорить?

— Ты знаешь, кто сейчас здесь был?

— Не знаю... — И я стал смотреть за окно.

— Здесь была Прасковья Ивановна.

— Ну и что? — сказал я.

— Как что? Нет, вы посмотрите на него! — возгласила сестра, словно обращалась сразу ко всему человечеству. — Она все рассказала!

– Что? – сказал я.

– То, что ты зарос двойками, сбежал из школы и прогулял уроки!.. Или ты станешь утверждать, что этого не было?

– Не было, – сказал я и сжал Кролика покрепче. Он был единственным моим другом. В нем толкнулось крошечное, как горошина, сердечко.

– Славик... – осторожно сказала мама. И, кажется, она что-то говорила еще, но я не помню. Запомнился только диалог с исполненной сдержанным негодованием сестрицей.

– Ну надо же! Зачем ты так бессовестно врешь? – Людмила картинно опустила руки.

– Я не вру.

– А Прасковья Ивановна, значит, врет?!

– Врет, – сказал я.

Николай с любопытством глянул на меня через плечо.

– Это не лезет ни в какие рамки, – горестно сказала сестра.

– Лезет, – машинально возразил я.

С полминуты длилось молчание. У меня в ладони бесшумно билось кроличье сердечко.

– Ну зачем ты упрямисься? – проникновенно спросила сестра. – Глупо отпираться вопреки очевидности... Ведь от тебя требуется только одно: признаться во всем и обещать, что исправишься... Ну?

«Салазки гну», – мелькнуло у меня. Но я просто промолчал.

– Ты скажешь хоть что-нибудь?!

– Что? – сказал я.

– Зачем ты так бессовестно отпираешься? Хотя все уже известно!

– Я не отпираюсь.

Я не отпирался. И не врал. Взрослые не могли понять, что я просто живу в ином мире. С иными понятиями. Что я своим упрямством отстаиваю самого себя. Остатки самолюбия и свое неприятие жизни, где непонятно за что ставят двойки, обзывают человека неряхой и лодырем, заставляют решать какие-то idiotские задачки, вставать в семь утра, сидеть до темноты в пропахшем кислыми чернилами классе и все время бояться, что тебя будут ругать...

Как я понимал Тома Сойера, удравшего на остров Джексона!

Но в Тюмени, на Туре, такого острова не было. И не было друзей вроде Гека...

Оставалось отрицать всё. Да, вопреки очевидности, несмотря на то, что все уже известно и против всякой логики.

В этом упрямстве была моя логика. Назло всем обстоятельствам стоять на своем. До конца, до самой смерти... Мне виделось в этом единственное спасение и единственная гордость... А твердость каменного Кролика добавляла твердости мне. И стук его сердечка не давал угаснуть смелости...

Да и что мне могли сделать? Отлупить? Но так со мной никогда не поступали. Поставить на долгие часы в угол? Ну и пусть!.. Пригрозить, что отправят в детдом или в Белоруссию к отцу? («Будешь там жить без мамы, с вредной мачехой!») Ладно, слышал я эту бредятину тысячу раз. Измотать душу долгими нотациями? Выдержу... Самое поганое, когда требуют признаний и заставляют просить прощения. Но на этот раз – фиг!

Хуже всего, если начнет плакать мама. Тогда... тогда я тоже зареву. Но все равно не сдамся...

Однако до маминых слез дело не дошло. Сестра сменила тон и снова обратилась ко всем:

– И вы послушайте, как он изобретательно врет! Про генеральную уборку, про приезд Нины Ивановны!.. «Технички суетились, как униформисты!» Откуда столько фантазии?

Николай снова посмотрел через плечо. Раздумчиво предположил:

– Может быть, он станет писателем...

Всем была известна моя тяга к сочинительству, но на этот раз сестра предрекла мне иной жизненный путь:

– Он будет малолетним преступником.

– Ну, Миля, зачем ты... – осторожно сказала мама.

– Да-да!.. Если немедленно не признается во всем. И не покажет свои тетрадки с двойками!..

Но я не признался ни в чем (тем более что тетрадки были вы помните где). Весь вечер я молчал, стискивая зубы, и наконец улегся спать на свой сундук с войлочной подстилкой и старым пальто вместо одеяла. Кулак с зажатым в нем Кроликом сунул под подушку. «Тук... тук... тук...» Николай незаметно провел пальцами по моей стриженной макушке.

...Больше чем шесть десятков лет прошло с той поры. Недавно я позвонил в город Дубну,

где живут нынче сестра с мужем, поздравил Николая Ивановича с очередным днем рождения.

— Коля, а помнишь свое давнее пророчество, что я стану писателем?

Оказалось, что он не помнит. Ну и ладно. Главное, что я это не забыл. И что сбылось предсказание Николая (который по родственной табели о рангах приходится мне зятем, но всегда был как старший брат).

Утром сестра усадила меня делать домашние задания, которые накануне принесла Прасковья Ивановна. О вчерашнем никто не сказал ни слова. Но в школу я пошел не один, а с сестрой. И думал, что объяснения не кончились. Ну и пусть! Кролик по-прежнему был у меня в кармане — твердый и надежный.

Когда подходили к школьным дверям, меня окликнул добродушный второгодник Серега Тошев:

— Эй, Крапива, чё вчера в школе-то не был?!

— Ну что? Приятно тебе это слышать? — «вчерашним» тоном спросила сестра.

— Приятно, — сказал я.

Никаких объяснений не случилось. Прасковья Ивановна что-то тихонько сказала сестре, а меня подтолкнула к парте:

— Славик, садись на место. Старайся быть внимательным и не пиши как курица лапой...

Вот и все. Я сел, высадил себе на колено Кролика и погладил его по ушам...

Если бы это был просто рассказ о Кролике, следовало поставить точку. Но та самая «цепь ассоциаций» тянет воспоминания дальше, подсказывая, что можно выстроить новый сюжет.

Правда, иногда возникает вопрос: а кому в наше время нужны эти сюжеты? Кто читает книги в эпоху наших гламурно-кризисных представлений о мире? То есть читают, конечно, только уж никак не о детстве, в котором жили отцы и деды. Читают о киллерах и вампирах, о сексуальных страстях, о доблестных милицейских следователях и не менее доблестной братве, о магах и запредельных мирах, никак не связанных с нашей грешной реальностью...

А дети, кому они нужны? И те, кто жили давно, и те, кто живут сейчас? Простая мысль, что без детства нет будущего, давно затоптана и упрятана под болтовней о ценах на нефть и предвыборными страстями. А человеку, проявившему интерес к проблемам детства, говорят: «Странные у вас склонности. Нет ли здесь чего-то эдакого?»

А я полвека работаю с ребятишками и пишу о них книги. Так уж получилось, что именно эта тема зацепила меня еще в студенческие годы. И перестраиваться поздно. Тем более что это было бы изменой тем, ради кого я вкалывал всю взрослую жизнь. Да и не сумею. Потому что до сих пор уверен: привязанность мальчика к игрушечному кролику-малютке — явление не менее важное, чем проблемы Большого адронного коллайдера или скандальные ситуации в мировой экономике. Потому что глубины ребячьей души (пока она не закокселась в «житейской мудрости») столь же масштабны, как глубины космоса. Простите за излишнюю пафосность и спорность суждений. Они спорны для многих, но не для меня. Гарантия тому — мраморный малыш с прижатыми ушами и ласковой мордашкой, сидящий передо мной на крышке принтера. Кролик с твердым тельцем и живым сердечком внутри...

Хотя вообще-то он не кролик, а зайчик.

Дело в том, что зайцы — настоящие и придуманные, игрушечные и обитающие в книжках — всегда были моими любимыми существами...

## Зайцы и геральдика

Куда девался мой первый любимый заяц — тряпичный, потрепанный, мягкий — я не знаю. Он сохранился лишь на размытом фотоснимке, где я, трехлетний, сижу на трехколесном велосипеде и серьезно «смотрю в будущее», а заяц смотрит у меня из-за локтя — он устроился сзади, на этажерке... Что с ним стало потом?

Зато других своих зайцев я никогда больше не терял. Даже истерзанного резинового зайчонка, неизвестно как попавшего в кладовку, забрал с собой, когда переезжал из Екатеринбурга в Тюмень. А всего зайцев у меня — целая ком-

пания. И самый знаменитый — герой нескольких книжек и «любимец публики» — Митька. Потрепанный, увешанный значками и амулетами, продутый морскими ветрами путешественник и философ. Но о нем я писал много раз. А Кролик — скромный и преданный — оставался в тени. Мало того, были годы, когда он, полузабытый, обитал где-нибудь в ящиках письменных столов или в кладовках. Но наконец я обрел собственный кабинет, и Кролик поселился на электрокаmine, рядом со старинным тюменским зеркальцем — еще более пожилым, чем он сам...

Иногда смотрит и спрашивает:

— Помнишь, как ты мне пел: «Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять...»?

Я помню. Только пел я не «умирает зайчик мой», а «убегает...». Зачем пугать малыша?

Теперь, помня про «цепь ассоциаций», самое время перейти к зайчику, который «вышел погулять».

Но сначала о кораблях. Такая вот странная взаимосвязь.

В 2007 году я приехал в Тюмень из Екатеринбурга, в котором прожил полвека. Вернее, не приехал, а вернулся. В город своего детства. Причин тому множество, и писать здесь о них не время и не место. На вопросы я отвечал коротко: «Отяжелевшего зверя под старость всегда тянет в родную берлогу». И в этом была немалая доля правды...

Многое в Тюмени уже не так, как в годы моего детства. Но многое все еще так. И я часто брожу по старым улицам, где в давние годы гонял обручи от бочек и самодельные футбольные мячи. А по вечерам люблю смотреть на город с балкона своей «профессорской» квартиры. Белеют колокольни восстановленных храмов. Подымаются в небо острые башни университетских корпусов. Они вовсе не старинные, эти башни, их не было во времена моего детства. Но они замечательно вписались в городской пейзаж и вносят в него этакий «андерсеновский» колорит. Таким вот уютным и сказочным я иногда видел родную Тюмень в детских мечтах.

Эта сказочность особенно проявляет себя

при полной луне, когда башни кажутся подсвеченными изнутри, кресты искрятся, а флюгера-кораблики чернеют в небе, как на картинках приключенческих книг.

В этих корабликах я вижу для себя особый смысл.

Какой?

Ну, во-первых, корабль с мачтой и вантами — на давнем гербе моей Тюмени. В знак того, что «отсюда начинается плавание по рекам Сибири». Герб этот превращал в моем сознании родной город в морскую гавань, из которой можно добраться до всех океанов (теоретически это так и есть). Этакий Гель-Гью из гриновских рассказов.

А во-вторых... Гриновская привязанность к парусам не оставляла меня и в студенческие годы, и я — с ребятами на окраине Свердловска — начал строить яхты собственной конструкции. Мы смастерили громадный щит с эмблемой нашей флотилии. На серебристом фоне — носовая часть корабля с опутанным снастями бушпритом и тремя алыми треугольниками-кливерами...

Теперь в-третьих.

Флотилия «Каравелла» дожила до наших дней — несмотря на героическое противодействие чиновников при всяких государственных устройствах и в разные времена. Многое в ней нынче не так, как в прошлом веке, не все мне по душе, и я порой спорю с нынешними командирами, однако факт есть факт — паруса живут, флот растет и ребята прикипают душой к «Каравелле», как и прежде. Да и ветераны не забывают свои корабли и походы... И меня, грешного, не забывают. В 2006 году, когда «Каравелла» отмечала сорокапятилетие, ее капитаны и флагманы «исхлопотали» для меня в областной геральдической палате родовой герб. По всей форме, со свидетельством. На черном щите с якорными лапами и синим проблеском золотой парусник — вроде тех, о которых я немало писал в своих книжках. Я повесил свидетельство и рисунок с гербом на стенке, над скрещенными шпагами, и хвастаюсь перед гостями. Такие вот дела... Теперь (в 2011 году) размышляю: в преддверии полувекового юбилея «Каравеллы» не истребовать ли у ее командиров для себя графский титул? С учетом того,

что, по некоторым данным, бабушка моя Текла Войцеховна (папина мама) была родом из семейства польских графов, чьи корни уходят к временам Стефана Батория...

Ну, титул — это вилами на воде писано. А герб с парусником — вот он.

Видите, уже три кораблика заняли важное место в биографии вашего покорного слуги.

А есть еще и четвертый. Тот, чье изображение красуется на шпилях университетских башен. Дело в том, что эмблема Тюменского университета — тоже кораблик. А для меня здешний университет — не просто местный вуз. И не в том дело, что я на склоне лет был удостоен в нем профессорского звания. Здесь (тогда еще в пединституте) до войны читал лекции мой отец. И отсюда ушел на фронт... Здесь получила диплом и моя старшая сестрица (которая педагогический опыт обрела еще до вуза, оттачивая воспитательское мастерство на младшем брате). Здесь учился мой первый литературный наставник — студент, руководивший семинаром школьников-стихотворцев. Помню, как я встречался с ним в старинном университетском здании, а потом преданно навещал в больнице, куда склонный к богемной жизни молодой поэт попал после дружеской свалки в общежитии. (Да, это помню, а вот имя наставника, увы, забыл.)

Я и сам хотел поступить сюда же, в тогдашний пединститут, но на факультет иностранных языков, куда я стремился, в том году не принимали документы... Ладно. Зато теперь читаю в университете лекции, стараясь привить юным талантам азы литературного творчества. Не всегда, правда, с успехом, но кораблик здесь ни при чем...

И думаете — всё? Как бы не так. К эскадре из четырех корабликов я добавлю сейчас и пятый. И он послужит связью между темами кораблей и зайцев.

Начиная лекции о писательском труде, я сообщил аудитории, что труд этот не всегда приносит известность и славу. И тем не менее люди пишут. Мучаются, придумывая сюжеты, стараются уложить слова в четкие выразительные фразы, страдают вместе со своими героями. Зачем? Почему? Наверное, привлекает сама радость творчества — пусть результат будет

более чем скромным. Привлекает причастность к великому явлению цивилизации, которое именуется «Литература».

Я говорил новичкам (которые поначалу внимали с интересом и почтительностью), что литературу можно сравнить с громадной пирамидой. Не все ее камни оказываются на виду и уж — тем более! — на вершине. Но существовать, быть тем, что она есть, пирамида не может без всех образующих ее камней. Вершина не в состоянии висеть в воздухе. И гении словесности не могут возникнуть сами по себе, им нужен могучий фундамент, который создается творчеством очень многих тружеников пера. Пушкин не стал бы Пушкиным, если бы не читал многих скромных авторов, которые сейчас почти забыты или забыты совсем.

Не оставшись в памяти поколений и порадовав лишь немногих читателей своей поры, эти поэты и прозаики разных веков тем не менее сослужили немалую службу мировой литературе. И, следовательно, человечеству в целом...

Мои слушатели про себя знали, что их будущие творения все-таки останутся в веках, но сидели со скромными понимающими лицами.

А я вещал дальше:

— И уж совсем неплохо, если потомки на долгие времена запомнят хотя бы несколько строчек из трудов какого-нибудь сочинителя. Пусть даже имя его и сотрется у многих в памяти... Вы все наверняка знаете эти стихи...

*Раз-два-три-четыре-пять,  
Вышел зайчик погулять,  
Вдруг охотник выбегает,  
Прямо в зайчика стреляет.  
Пиф-паф, ой, ой, ой!  
Умирает зайчик мой...*

Аудитория оживлялась. Стихотворение про несчастного зайчика (в отличие от многих других бессмертных творений мировой литературы) юные таланты помнили все без исключения.

— Это радует... — замечал я и спрашивал снова: — А известно ли вам, коллеги, кто автор этих нетленных строк?

Коллеги опускали взоры. И я рассказывал про Федора Богдановича Миллера, который

жил и писал в девятнадцатом веке. Был автором романов, поэм, стихов, славился как переводчик. Говорят, у читающей публики порой проскальзывали такие фразы: «Ну что там Пушкин! Миллер — вот это да!» Впрочем, сам Федор Богданович не виноват, конечно, в таком идиотизме. Это был небесталанный трудолюбивый литератор. Одно время даже выпускал журнал «Просвещение». Сочинял он не только для взрослых любителей словесности, но и для детей, и вот в своем журнале однажды и напечатал про зайчика. Все творения Ф.Б.Миллера нынче забыты, а эти стихи оказались бессмертными...

Почему? Возможно, из-за своей чисто ребячьей ритмики — ну прямо считалка! А кроме того, западает в память оттого, что жаль зайчика. Особенно жаль его девчонкам и мальчишкам — вот уже полтора века подряд. Недаром к этим стихам придумано столько продолжений. Самое известное:

*...Принесли его домой —  
Оказался он живой!*

Сначала я даже думал: может быть, автор сам решил смягчить трагизм ситуации и написал эти строчки, «идя навстречу пожеланиям читателей». Но, увы, нигде не нашел этому подтверждения.

Зато, копаясь в статьях о Ф.Б.Миллере, я наткнулся на интересную деталь — рисунок дворянского герба.

Едва ли Миллер, который родился в бедной немецкой семье, был дворянином от рождения. Скорее всего, он получил дворянское достоинство и герб за выслугу. За свои труды. Подтверждением тому — девиз, начертанный на голубой ленте под щитом: «Трудолюбием». Мол, благодаря этому качеству я добился в жизни всего, что имею.

А самое главное — посреди герба красуется трехмачтовый фрегат. (Интересно, почему? Миллер не был моряком, во флоте не служил, не путешествовал.)

Вообще-то, герб довольно пышный — с узорчатым картушем вокруг щита, с киркой и лопатой (символ «трудолюбия»?), с рыцарским шлемом наверху, который увенчан еще одним па-

русом. Но главное — корабль в центре. Это, как говорится, грело мне душу.

Впрочем, скоро меня настигло разочарование. Некоторые материалы содержали сведения, что герб принадлежит другому литератору — профессору, историку, поэту О.Ф. Миллеру. И не родственнику, не сыну, хотя и Оресту Федоровичу, а просто однофамильцу. Орест Федорович, как пишут современники, был замечательный человек, интересный ученый, специалист по русскому фольклору, проявлял исключительную заботу о студентах (готов был для них снять с себя последний сюртук). Но к зайцам он отношения не имел. И не давал мне повода включить свой дворянский символ в мою коллекцию геральдических кораблей.

Правда, в других статьях о Федоре Богдановиче Миллере, авторе «Зайчика», я продолжал находить иллюстрации герба с корабликом, но догадывался, что это ошибка.

— Жаль, — сказал я своим зайцам.

Сидевший на принтере мраморный Кролик смотрел с молчаливым сочувствием. А обитающий на диване заяц Митька — личность, склонная к философии и скепсису, — хмыкнул:

— Ну и чего ты страдаешь? Обойдется твой Федор Богданович без герба. Зануда...

— Я или он?

— Оба.

— Его-то за что так?

— А зачем он угробил зайчика? Садист! После этого еще герб ему подавай. С парусами...

— Балда ты! Он же написал это в знак протеста! Чтобы вызвать в человеческих душах сострадание!

— Ну... если в знак протеста, давай тогда чегонибудь глотнем... в память о зайчике.

— Глотай, если хочешь. Вон «Тюменская минеральная» в стакане, — мстительно сказал я.

Митька процитировал байроновского «Дон Жуана»:

*Вода? Она не так вкусна,  
Я пил ее однажды...*

Ладно, мы глотнули «не воды» (Кролик не стал). Погрустили о несчастном зайчике. И о других зайцах, немало страдавших от злых охотников и других отрицательных персонажей.

### Зайцы, дедушки и мальчишки

Зайцы с младенчества были у меня любимыми героями книжек. Когда истории про них заканчивались хорошо, я прямо расцветал от счастья. Когда храбрый петух изгнал из лубяной заячьей избушки вероломную лису (похожую на нашу соседку Таисью Тимофеевну), когда удачно выпутывался из истории с волком храбрый заяц Мамина-Сибиряка, когда счастливо кончался рассказ Паустовского «Заячьи лапы»... Но больше всего я любил Некрасова — «Дед Мазай и зайцы». Возможно, потому, что спасенных зайцев там была целая толпа. И еще потому, что речь идет о плавании. Пусть не на корабле, а на лодке, но все равно о плавании. Страсть к путешествиям по воде жила во мне с младенческих лет.

— Митька, видишь, как в моем сюжете переплетаются корабельная и заячья тема, — настаивательно говорю я.

— Ага... Может, еще по одной? — откликается Митька, у которого немалый опыт парусных плаваний.

— Тормози, — отвечаю я, потому что мраморный Кролик смотрит с принтера укоризненно.

— Эх ты! А еще рассуждаешь о сострадании, — ворчит Митька и, посопев, начинает дремать. А я беру Кролика в ладонь, и мы вдвоем начинаем думать про сострадание... Или про нехватку такового...

Не все дедушки были добрыми, как Мазай. Другой «дедушка» — Владимир Ильич Ульянов, находясь в сибирской ссылке, гробил попавших в беду зайцев десятками. Об этом писала в воспоминаниях Надежда Константиновна Крупская, которая жила в Шушенском вместе с Ильичом.

Ссылка была довольно комфортабельной, поднадзорный Ульянов имел возможность в свое удовольствие заниматься охотой, которую весьма любил. Однажды он оказался на острове, где спасались загнанные туда осенним ледоставом зайцы. Беднягам деваться было некуда, а у будущего вождя мировой революции разыгрался охотничий азарт. Прикладом ссыльный Ульянов наколотил столько беззащитных зверьков, что, по словам Крупской, осела лодка...

Было это недалеко от села Шушенского. Автору этих строк выпало однажды в Шушенском побывать. Давно, правда, полвека назад. Осенью пятьдесят седьмого года наша студенческая бригада работала на уборке хлеба на целинных полях в Хакасии. А в начале октября, когда уборка успешно завершилась, начальство решило наградить самоотверженных студентов поездкой в ленинские места. От нашего полевого стана до места Ильичевой ссылки было не близко, но партийные руководители решили, что «молодые посланцы Урала» заслужили такую награду (мы и правда вкалывали будь здоров!). К тому же — идеологическое воспитание!

Мы поехали на нескольких грузовиках — тогда это разрешалось. Через несколько городов. Я запомнил Минусинск — родину Николая, мужа Людмилы. Для него я сделал из кузова снимок — широкая улица и красивая, в стиле сибирского барокко, церковь, похожая на храмы Тюмени... Я вспоминаю этот эпизод не потому, что он чем-то важен, а потому, что минуту назад просмотрел на компьютере сохранившиеся снимки той поры. Делал я их маленьким «ФЭДом» — подарком Людмилы и Николая — и кто в ту пору мог подумать, что на свете появятся какие-то компьютеры и молодежь забудет, как снимки надо проявлять и печатать...

Есть на снимках и село Шушенское, и дом, в котором обитали «жертвы царского произвола» Владимир Ульянов и Надежда Крупская. И двухэтажный благоустроенный Дом культуры, где поместили на ночевку экскурсантов (приехали мы под вечер). Нас оказалось множество, пришлось укладываться кто где сумел, на лавках, на стульях и прямо на полу. Ну, студенты — народ привычный. Я не проявил проворства, увидел, что удобного места уже нет, и решил потеснить однокурсников. Это были Боря Тимофеев (впоследствии известный уральский журналист) и Слава Шугаев — будущий писатель, лауреат премии Ленинского комсомола, профессор Литинститута. Они удобно расположились в просторной комнате на бильярдном столе.

— Отчего бы господам не потесниться? — осторожно сказал я.

— Это лежбище для двоих, — возразил Шугаев, — и «два джентльмена уже спят на бильярде»... — Он явно цитировал «Посмертные за-

писки Пиквикского клуба», ту страницу, где мистер Пиквик уговаривает хозяйна переполненной гостиницы пустить его на ночлег.

— Но «джентльмен» вовсе не Пиквик, он тоньше в три раза, — возразил я, и, смягченный моим знанием Диккенса, Славка подвинулся. Борис тоже. Мы переночевали вполне комфортабельно, только ходить ночью в туалет, переступая через однокурсников, было затруднительно...

На следующий день после знакомства с домом, где когда-то обитал Владимир Ильич, и с другими ленинскими местами в селе нас повезли в лес. К знаменитому шалашу. Высоченныи сосны, ели и осины обступали лужайку. Шалаш представлял собой крепкую хижину — склоченную из досок и укрытую дерном. Из дерна кое-где росли крохотные березки. Утомленная женщина-экскурсовод слегка виновато объясняла, что шалаш, конечно, не «тот самый», копия, но «в точности на том месте». Черная табличка под стеклом подтверждала, что именно здесь ссыльный Ульянов отдыхал во время своих охотничьих вылазок.

Пахло брусникой и мохом.

В шалаше лежала пухлая книга отзывов. Там экскурсанты оставляли свои впечатления и заверения в бесконечной верности ленинским заветам. Наши активисты, естественно, тоже стали сочинять запись — от имени всех присутствующих, — а потом книга пошла по рукам.

— Смотри, какие трогательные слова, — проникновенно сказала мне однокурсница Аллочка.

Крупными карандашными буквами было выведено: «Дедушка Ленин, я тебя люблю. Миша 6 лет».

Я согласился, что слова трогательные. Безусловно, шестилетний Миша писал их искренне. И под ними охотно подписались бы еще миллионы таких же Миш, Толиков, Сережек, Алёнок и Наташ. Да и взрослых людей тоже. Разоблачения «ошибок, перегибов и репрессий», которые недавно, на двадцать втором съезде, с немислимой отвагой сделал Хрущев, никак не коснулись авторитета Владимира Ильича. Наоборот, слышались призывы вернуться к «ленинским нормам жизни». И я был с этим согласен — конечно же, такие

нормы гораздо терпимее сталинских. Поэтому я мысленно улыбнулся маленькому Мише, покивал Аллочке, но... в глубине моей души привычно шевельнулся скепсис по отношению к личности Ульянова-Ленина.

Дело было не в политике, про нее — истинную ленинскую политику — я тогда почти ничего не знал (опять же, как и миллионы соотечественников). Мало того, не знал еще и про «заячью бойню» на недалеком от здешнего места острове. Но во мне жили сомнения по поводу моральных качеств и характера Володи Ульянова (который едва ли от них избавился, когда стал взрослым дядей Володей).

Эти сомнения появились еще в первом классе. Прасковья Ивановна знакомила нас, «внучат Ильича», с эпизодами Володиного детства. Видимо, излагала воспоминания его родственников и широкоизвестные рассказы Михаила Зощенко. Какой Володя был правильный, трудолюбивый, благородный и честный. Как он целых два месяца плакал по ночам оттого, что разбил тетушкин кувшин и не решился вовремя признаться... («Придурок», — шепнул тогда Серега Тоцев. «Хулиган! Как ты смеешь! — взвилась Прасковья Ивановна. — Такое... про будущего Ленина!» — «Да не про Ленина я, а про Левина! — извернулся Серега. — Чё он мне за шиворот обслюнявленный жмых затолкал!»

— «Вижу я: сидеть тебе в первом классе третий год... — с облегчением сказала Прасковья Ивановна. — Марш вместе с Левиным в коридор...» И стала рассказывать, как гимназист Ульянов приходил с уроков и на ходу сообщал отцу в дверь кабинета: «Из греческого пять, из немецкого пять...»

— Это раньше так говорили: не «по такому-то предмету», а «из такого-то предмета...». Например, у тебя, Левин, сегодня «из письма» опять двойка... Иди-иди...

Если история с кувшином вызвала у меня кой-какое понимание (я был чувствительное дитя), то вот эти «отметочные» выкрики показались чудовищным хвастовством и самодовольством. Кого он хотел удивить?... Другое дело, если, например, я раз в полугодии получу по арифметике... ну, не пятерку, конечно (это немисливо), а четверку. Тогда можно крикнуть с порога: «Мама, четыре за примеры и за-

дачку!» А чего хвалиться-то, если и так все знают, что отличник!..

А отец при этом еще и улыбался!

Подумаешь, «из греческого пять»...

Недавно перечитывал Чехова и наткнулся на это «из греческого» совсем в ином контексте. В одном рассказе интеллектуалы-театралы Полуехтов и Финтифлеев ведут беседу об искусстве, и вдруг появляется маленький гимназист. Подает Полуехтову письмо.

Далее — по тексту:

«Полуехтов взял гимназиста за руку и, подбieraя полы своего халата, повел его в другую комнату. Через минуту полковник услышал странные звуки. Детский голос начал о чем-то умолять... Мольбы скоро сменились визгом, а за визгом последовал душу раздирающий рев...

Странные звуки продолжались минуты две... Засим все смолкло, дверь отворилась и в комнату вошел Полуехтов. За ним, застегивая пальто и сдерживая рыдания, шел гимназист с заплаканным лицом. Застегнув пальто, мальчик шаркнул ножкой, вытер рукавом глаза и вышел. Послышался звук запираемой двери...

— Что это у тебя сейчас было? — спросил Финтифлеев.

— Да вот, сестра просила в письме посечь мальчишку... Двойку из греческого получил...

— А ты чем порешь?

— Ремнем... самое лучшее...»

Вообще-то, я не сторонник такого воспитания. Наоборот, не раз клеймил тех, кто подымает руку на ребят — и своих, и чужих. Но тут мелькнула ядовитая мысль. Может быть, следовало Илье Александровичу не улыбаться, а однажды спустить с любимого отрока гимназические брюки и всыпать ему форменным ремнем? И не только за похвальбу, но и за другие более поганые проявления нрава.

Как, например, «Володенька» отрабатывал свой командирский характер на младшей сестренке! Загонял девочку под диван, а потом командовал: «Шагом марш из-под дивана!»

Или как измывался над младшим братишкой! Митя был существом впечатлительным («Похожим на меня», — думал я) и плакал всякий раз, когда при нем пели песню про серого козлика. Как «напали на козлика серые волки». Ну, жаль было малышу козленка! А старший братец наз-

ло Мите запевал песню снова и снова. Пускай, мол, тот воспитывает в себе твердый характер...

«Если бы у меня был братишка, я бы ни за что на свете не изводил и не пугал его!»

Братишка вскоре появился, и я никогда не пел ему песенку с таким трагическим финалом. А в стихах про зайчика всегда присоединял строчки, что «оказался он живой»...

А больше всего меня возмущала история, как Володя обманывал Митю при игре в солдатики. Солдатики были бумажные, их — две армии — расставляли по краям стола и стреляли по ним горошинами. Старший брат («изобретательный» и «находчивый») прикалывал подставки своих солдатиков булавками к столу. Те от ударов горошин гнулись, но не падали. Доверчивый Митя только хлопал глазами, когда Володя награждал «стойких воинов» раскрашенными орденами...

Я тоже любил играть солдатиками. Вместе с другом-соседом Павликом Шадриним. О Павлике и о солдатиках я уже не раз писал в своих книжках, но здесь приходится повториться. Мы тоже расставляли бумажных гренадеров, офицеров и генералов на столе, тоже стреляли по ним горохом. Бывало, что крепко спорили. Но никому бы не пришло в голову так вот вероломно, украдкой от противника, прикреплять своих солдат к столу. Да потом еще награждать героев и хихикать! Это было бы такое свинство! Просто измена! Тех, кто позволял себе такие поступки, называли нехорошим словом «хлызда».

Ребячий кодекс тех времен был к таким людям строг. Если мальчишка «хлызнул» неоднократно, подглядывал при игре в прятки, воровал чужих воздушных змеев, валил свои провинности на приятелей или нахально нарушал правила в «сыщиках-разбойниках», его могли проучить. Нет, лупить не стали бы. Те же правила дворовой жизни разрешали драки только один на один и если силы примерно одинаковые. Но провинившийся мог заработать маканье головой в дождевую бочку, репейные колючки за шиворот или катанье на палочках. Процедура «катанья» была довольно суровой. На земле раскладывались параллельно друг другу сучковатые палки и рейки с острыми краями. Приговоренного укладывали на них спиной (он дергался, но не сильно — куда денешься-то?) и за руки, за ноги таскали туда-сюда. И назидательно пели:

*Чичига, чичига,  
Тебя мать учила  
Не хлыздить, не свистеть,  
А в окошко глядеть!*

И дальше:

*Ехал Ванька по воду,  
Нашел бочку солоду,  
Бочка не кругла,  
Покатилась с угла.*

*Катись, катись, катись  
И ж-й не вертись.  
А будешь ей вертеть —  
Не сможешь ей сидеть!..*

Кто такой (или такая) чичига, мы не знали. Наверно, что-то вроде «хлызды». А выражение «не сможешь ей сидеть», разумеется, неправильное, но — согласитесь — энергичное.

Безжалостный к братишке Володя был, конечно, «хлызда» и «чичига». Прокатить бы его на палочках, чтобы «не смог ей сидеть»! Но маленький Митя ничего не мог поделывать. И я тоже — по причине разницы во времени и по мягкости характера.

И даже поделиться своими мыслями по этому поводу я не решался — ни с Павликом, ни с приятелями-одноклассниками Семкой Левиным и Алькой Малеевой. Были вещи, «о которых не болтают». Уже в ту пору я уяснил это крепко, потому что жил среди людей, знавших не понаслышке, куда могут завести лишние разговоры. И даже мысли. Помню рассказ отца о его беседе со следователем в тридцать восьмом году:

«Нам хорошо известен образ ваших мыслей...»

«Каких мыслей? Я ничего такого не высказывал!»

«Вы такого не высказывали, но нам ясно, что вы такое думаете. Значит, можете однажды высказать...»

И потому — пожалуйста в лагерь под Салехардом. А это вам не Шушенское, похожее на таежный дом отдыха...

Отец Павлика Шадрина, известный шахматист, замечательный художник, тоже «загремел»

в конце тридцатых. Только не в лагерь, а в расстрельный подвал. Одним из обвинений было то, что он рисовал своим детям «белогвардейских солдат». Соратники и ученики бывшего гимназиста Володеньки Ульянова были похожи на него характером... Я уже писал про солдатиков в своих повестях, но сейчас решил повториться, потому что на тюменское новоселье Павел Григорьевич подарил мне десяток сохранившихся бумажных фигурок. Среди них — адмирал Нахимов, про которого мы с Павликом любили читать книгу «Малахов курган»... Почитаем, потом расставим на столе русских матросов и французских пехотинцев, и — пошел бой за Корниловский бастион! Порой доходило до скандала:

— Пашка, я так не играю! Почему ты опять суешь мне французов? Я французом был в прошлый раз!

— В позапрошлый!

— Хлызда!

— Рёва! Слезки на колёсках! (Именно так — на «колёсках», а не на «колёсиках», для сохранения стихотворного ритма.)

Нуда, ругались порой. Но тут же мирились. И никогда не жульничали, солдатам обманных подпорок не делали. Только однажды я прижал мраморным Кроликом к столу подставку картонной оборонительной стенки. Но это открыто, на глазах у противника — чтобы стенка не свалилась еще до начала боя...

Потом бастионная стенка все же упала — во время баталии. Кролик соскользнул со стола и стукнулся о половицы. Мы стали искать его под столом. Нашли. Вынесли на свет, под лампочку. Я погладил Кролика по ушам, подышал на него, коснулся губами мраморной мордашки. Павлик мог бы хихикнуть по поводу моей чрезмерной чувствительности, но не стал. Пригляделся.

— Бедняга. Лапка отбилась...

— Это не сейчас, а давно...

— Все равно жалко...

И я затеплел от благодарности к Пашке — за то, что он пожалел моего мраморного дружка, у которого внутри крохотное живое сердце...

Пока я писал эту маленькую повесть, наступил очередной Новый год. На этот раз — год

Белого Кролика. Я взял мраморного малыша на ладонь.

— Поздравляю. Это твой праздник.

— Ну и что? Не первый раз... — отозвался Кролик. Неслышно и умудренно.

Что верно, то верно — не первый. Он ведь мой ровесник. Однако, в отличие от меня, Кролик не изменился. Ну разве что слегка потемнел и обзавелся царапинами, но по сути своей остался мальчишкой (ведь мальчишки тоже бывают с царапинами и уличной пылью на коже). И он не забыл игры и дела прежних лет. Иногда мы вспоминаем их вместе.

— Помнишь, мне было восемь лет, мы сидели в сарайчике, дождик скребся о дощатую крышу, а я читал тебе растрепанную книжку про Братца Кролика...

— Ага. «Сказки дядюшки Примуса».

— Не Примуса, а Римуса. Ты всю жизнь путаешь...

— Не придирайся. Все равно про Кролика...

— Ладно, ты прав...

— А... знаешь что? — вдруг стеснительно шепчет он.

— Что?

— Давай почитаем снова эту книжку.

Наш общий друг заяц Митька на диване настораживает тряпичные уши — он тоже любит слушать сказки, хотя притворяется уж-жасно взрослым.

Я не спорю. Иду к стеллажам и разыскиваю книгу с размочаленными уголками картонного переплета. Рядом стоит на полке елочка. На ней искрятся игрушки — в том числе и те, которые мы с Кроликом помним со времен нашего детства. Кажется, они тихонько звенят.

...А за окнами падает рождественский снег. Ложится на карнизы — чистый и такой белый, каким был мрамор в первые дни жизни моего замечательного Кролика (то есть зайчонка).

...Когда закончим чтение, позвоню в далекий от Тюмени город Дубну своей замечательной сестре. Скажу, что сегодня утром наконец-то дописал маленькую повесть.

— Ту, которую давно обещал сочинить тебе в подарок...

Январь 2011 г.



**Владислав КРАПИВИН** — писатель,

автор двадцати романов, около сотни повестей,

нескольких сборников рассказов. В основном — о детях.

Окончил факультет журналистики Уральского университета.

В. Крапивин — лауреат престижных литературных премий,

кавалер нескольких правительственных наград.

Однако особенно гордится родовым гербом, который присвоен ему

и утвержден Комиссией по символам Свердловской области.

На гербе — золотая каравелла и девиз: «Всегда двенадцать».

Это означает, что писатель до сих пор не вышел из мальчишечьего возраста.

Сейчас В. Крапивин — профессор Тюменского государственного университета,

руководитель «Школы литературного мастерства».

